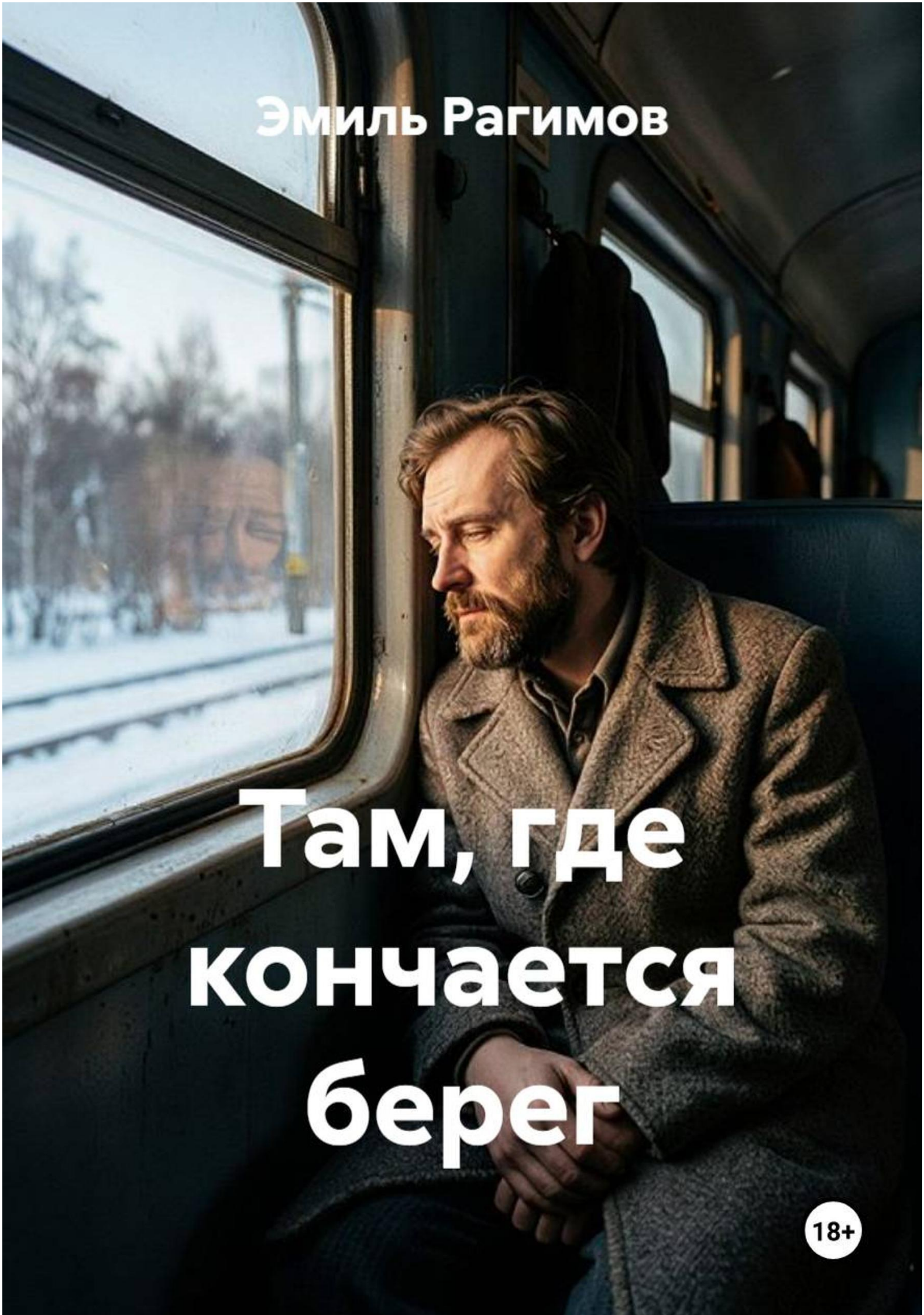

Эмиль Рагимов
Там, где кончается берег
18+

Эмиль Рагимов

Там, где кончается берег

«Автор»
2026

Рагимов Э. А.

Там, где кончается берег / Э. А. Рагимов — «Автор», 2026

Действие повести начинается в конце ноября 1977-ого года, Виктор Михайлович Коротков купив своей любовнице Елене у фарцовщика дорогое украшение, деньги на который он "позаимствовал" из кассы Академии Наук, отправляется к ней в Калугу. В поезде он несколько раз засыпает, прибыв в Калугу спросонья Короткову мерещится его жена, понимая что это невозможно, но поддавшись страху он бежит и случайно попадает под колеса грузовика, перевозящего щебень, последняя мысль которая мелькает в голове это грусть о том, что он так и не смог подарить свой подарок.

© Рагимов Э. А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 Калужский экспресс 5
Глава 2. Берег забытых душ 8
Глава 3. Иллюзия расстояния 11
Глава 4. Община "Непредрешённости" 14
Глава 5. Вавилонские мудрецы 17
Глава 6. Каменные ворота Митрополита Спиридона 20
Глава 7. Вечные стены разума 22
Конец ознакомительного фрагмента. 24

Эмиль Рагимов
Там, где кончается берег

Глава 1 Калужский экспресс

«Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». В.И. Ленин.

Вагонные стыки глухо, надсадно постукивали где-то глубоко под грязным полом, и этот монотонный, тяжелый ритм настойчиво, с каждым ударом колеса, вколачивал в голову Виктора Михайловича одну и ту же липкую мысль: *«Ты вор, Коротков. Вор, растратчик и трус»*.

За окном старого межобластного вагона стояли глухие, беспросветные сумерки конца ноября 1977 года. Редкие подмосковные полустанки проносились мимо, размываясь в желтые грязно-масляные пятна от тусклых привокзальных фонарей. В самом вагоне пахло мокрым сукном пальто, дешевым табаком из тамбура и пережаренным чаем в титане. Виктор Михайлович сидел у самого окна, прижавшись лбом к холодному, покрытому изнутри плотной испариной стеклу. Его правая рука, глубоко спрятанная в кармане тяжелого, добротного драпового пальто, судорожно, до боли в суставах сжимала плоский бархатный футляр.

Там, внутри, укутанное в шелк, покоилось массивное, вызывающе дорогое старинное ожерелье. Виктор Михайлович до сих пор помнил липкий страх, который он испытал всего сутки назад в душной, прокуренной полуторке на окраине Москвы. Фарцовщик — скользкий тип по кличке Граф, одетый в остродефицитную финскую дубленку, — долго крутил украшение перед его носом, цыкал зубом и шептал: *«Чистая царская работа, шеф. Камни настоящие, старой огранки. Такое сейчас только в Алмазном фонде или у партийных боссов в спецраспределителях. Девка твоя от счастья с ума сойдет»*.

И Лёля бы сошла. Его поздняя, сумасшедшая калужская любовь, ради которой сорокапятилетний уважаемый ученый полностью потерял голову. Когда она, перебирая пальцами его жидкие седеющие волосы, мимоходом вздохнула о том, что ее молодость проходит в серости и ей никогда не носить настоящих, благородных камней, в голове Короткова словно замкнуло какой-то важный тумблер. Рациональный ум математика, привыкший к строгим формулам и логическим последовательностям, полностью сдался под напором этой запоздалой, болезненной страсти.

Четыре тысячи рублей. Сумма по советским меркам астрономическая, космическая — цена новеньких «Жигулей» или кооперативной квартиры. Коротков, будучи старшим научным сотрудником и ведущим специалистом Института математики Академии Наук СССР, никогда не держал в руках таких денег. Должность кассира кассы взаимопомощи, которую он занимал по чистой случайности и общественной повинности, оказалась для него проклятием. Он просто взял их из сейфа. «Позаимствовал» на выходные. Оправдывал себя тем, что скоро защитит докторскую, получит премию, перехватит у коллег, выкрутится… Но сейчас, в холодном вагоне, эти оправдания казались детским лепетом. Он совершил должностное преступление. Крах карьеры, позор на всю Академию, суд и лагеря — вот что ждало его впереди, если проверка нагрянет раньше понедельника.

Поезд резко качнуло на стрелке. Пассажиры вокруг — усталые командировочные в серых пиджаках, женщины с тяжелыми авоськами — дремали под глухой ропот вагонного радио, передававшего передовицу о трудовых успехах пятилетки. Коротков прикрыл глаза. Усталость последних бессонных суток навалилась на него свинцовым, удушающим мешком.

Он провалился в тяжелый, рваный сон. Ему снились бесконечные, уходящие за горизонт ряды цифр в годовых отчетах Института. Цифры вдруг начинали шевелиться, превращаясь в жирных черных червей, и принимались течь по его ладоням, оставляя несмываемые черниль-

ные пятна. Коротков пытался вытереть руки о полы пальто, но пятна въедались под кожу. Затем декорации сна изменились. Ему приснилась жена, Антонина. Они прожили вместе двадцать лет в тихой, пресной московской квартире. Тоня стояла у плиты, спиной к нему, в своем неизменном ситцевом халате, и молча чистила картошку. Но кожура падала на дощатый пол с глухим, пугающим металлическим стуком, словно на пол сыпались тяжелые рублевые монеты.

— Виктор, где ты взял эти деньги? — не оборачиваясь, спросила она чужим, эхоподобным, грохочущим голосом, от которого задрожали стены. — Ты ведь погубил нас. Погубил…

Коротков вздрогнул, дико вскрикнул про себя и открыл глаза.

Поезд уже стоял, окутанный клубами белого пара. Проводница с заспанным, злым лицом и тяжелым железным ключом в руке уже кричала на весь проход, дергая двери тамбура: — Калуга! Товарищи пассажиры, конечная! Освобождаем вагоны, не задерживаем!

Спросонья голова раскалывалась так, словно по ней ударили обухом. В висках стучала кровь. Коротков наспех подхватил свой потертый кожаный портфель, судорожно проверил пальцами бархатный футляр в кармане пальто и выскочил в холодный, сквозящий тамбур, а оттуда — вниз, на обледенелый перрон.

Калужский вокзал встретил его пронзительным, сырым осенним ветром и колючей ледяной крупой, которая летела прямо в лицо, заставляя щуриться. Пассажиры быстро, ссутулившись, растворялись в густой темноте привокзальной площади. Коротков шел быстро, почти бежал, подняв воротник пальто и пряча лицо. Он стремился поскорее добраться до стоянки такси, уехать к Лёле, спрятаться в ее теплой квартире, отдать этот проклятый подарок и забыться хотя бы на пару часов. Страх, спавший во время усыпляющей дорожной качки, теперь проснулся окончательно. Короткову казалось, что каждый встречный патруль милиции смотрит именно на него, что дежурный у входа в вокзал лейтенант уже держит в руке ориентировку на его задержание. Ему чудилось, что за ним по пятам идет невидимая погоня из Москвы.

Он резко обернулся возле фанерного газетного киоска, чтобы проверить, нет ли хвоста, и замер, чувствуя, как сердце буквально остановилось в груди.

В тридцати шагах от него, прямо под желтым, тусклым конусом вокзального фонаря, стояла женщина. На ней был серый пуховый платок и каракулевый полушубок — точно такой же, какой он сам купил своей жене три года назад на премиальные. Это была Тоня. Его жена. Она стояла неподвижно, сложив руки на груди, и смотрела прямо на него своими спокойными, всевидящими глазами.

«Этого не может быть! — дико, панически забилась мысль в голове математика. Логика, высшая математика, здравый смысл — всё кричало о том, что это абсолютный абсурд. Тоня осталась в Москве, она мирно спит в их постели, она физически не могла узнать о краже и обогнать экспресс! — Это невозможно!»

Но первобытный, животный страх перед разоблачением оказался сильнее тридцати лет занятий точными науками. Поддавшись слепой, безумной панике, Коротков круто развернулся и бросился прочь от фонаря, выбегая прямо на проезжую часть привокзальной площади, совершенно не глядя по сторонам. Подошвы его чешских туфель предательски скользнули по утренней, припорошенной снегом наледи. Он потерял равновесие и взмахнул руками, выронив портфель.

В то же мгновение резкий, оглушительный, переходящий на сиплый фальцет рев клаксона разрезал морозный воздух.

Коротков успел лишь наполовину повернуть голову. Он увидел, как прямо на него, скрежеща тормозами и опасно заваливаясь набок по гололеду, несется огромный, грязный грузовик-самосвал «ЗиЛ». Его кузов, доверху наполненный тяжелым, острым серым щебнем для дорожных работ, угрожающе качнулся. Ослепительная вспышка фар на секунду выжгла Короткову сетчатку глаз.

Удар был колоссальной силы, но, к глубокому удивлению Виктора Михайловича, он не принес ожидаемой разрывающей боли. Наступило мгновенное, абсолютное онемение всего существа. Время словно замедлило свой ход в тысячи раз. Коротков плавно повалился на спину, краем глаза видя, как серый щебень струйкой сыплется из накренившегося кузова прямо на асфальт. Он лежал, уставившись в холодное, равнодушное калужское небо, по которому ползли грязные тучи. Сознание угасало стремительно, как тухнущая неоновая вывеска кинотеатра.

Последней мыслью, которая четко и кристально ясно промелькнула в его голове перед тем, как навалилась окончательная, глухая тьма, была пронзительная, детская и невыносимо горькая грусть: *«Лёля… Милая моя Лёля… Я так и не успел отдать тебе подарок»*.

А затем исчезли и мысли.

Тьма не была пустой. Она пахла сырым гравием, застоявшейся вокзальной водой и почему-то — книжной пылью из библиотеки Института математики. Виктор Михайлович больше не чувствовал тяжести своего добротного драпового пальто, не ощущал ледяной крупы на лице. Но его правая рука — точнее, то призрачное воспоминание, что от нее осталось, — всё еще судорожно сжимала пустоту в кармане.

Где-то бесконечно далеко, на самой грани угасающего слуха, испуганно выла сирена скорой помощи, кричали люди и глухо, надсадно колотилось в агонии чужое железное сердце грузовика. Но этот гул стремительно удалялся, словно Короткова уносило мощным подземным течением прочь от залитой огнями привокзальной площади Калуги.

Земное притяжение отпустило его. Логика, формулы, законы физики и советские рубли — всё это превратилось в невесомый пепел. Оставшись наедине с этим абсолютным ничто, Коротков сделал свой первый, неосознанный вдох там, где воздуха уже не существовало.

Глава 2. Берег забытых душ

Тьма отступала неохотно, скручиваясь в серые, рваные хлопья, похожие на обрывки грязной ваты. Первым, что вернулось к Короткову, было зрение. Не было ни боли в раздробленных костях, ни хриплого, свистящего дыхания, ни солоноватого привкуса крови во рту — ничего из того, что должно было неминуемо последовать за страшным ударом многотонного «ЗиЛа».

Виктор Михайлович лежал на спине. Прямо над ним простиралось огромное, монотонно-серое небо, полностью лишенное облаков, птиц и малейшего намека на солнце. Оно не было хмурым или грозовым — просто ровный, мертвенный купол, источающий тусклый, рассеянный свет, который не давал теней.

Коротков резко сел, подчиняясь первому, еще земному импульсу паники. Под его ладонями зашуршала крупная, идеально круглая серая галька. Он огляделся, и увиденное заставило его протереть глаза.

Бескрайнее побережье, уходящее в обе стороны, было заполнено людьми. Сотни, тысячи человеческих фигур. Все они были одеты абсолютно одинаково — в простые, свободного кроя робы из грубоватой белой ткани, похожие не то на больничные больничные балахоны, не то на монастырские одеяния. Коротков опустил взгляд на себя: его дорогое драповое пальто, чешские туфли и бархатный футляр с ворованным ожерельем исчезли. На нем была точно такая же белая роба, подпоясанная простым шнурком. Он судорожно потрогал свою грудь — ребра были целы. Попытался нащупать пульс на запястье, зажав вену пальцами, но кожа под подушечками оставалась неподвижной и прохладной. Сердце не билось.

— Предсмертный бред, — вслух, твердо произнес Коротков.

Его собственный голос прозвучал странно — четко, но совершенно беззвучно в плане эха, словно в комнате с плотно обитыми войлоком Стены.

— Классическая клиническая смерть. Мозг погибает от гипоксии, — рассудительно, как на лекции перед студентами, продолжал математик, пытаясь уцепиться за остатки рацио. — Сигнал затухает. Сейчас мое подсознание моделирует защитную реакцию, наспех компилируя образы из прочитанных книг и загробных мифов.

Чтобы окончательно доказать себе нереальность и иллюзорность происходящего, Коротков выбрал тяжелый, с кулак величиной булыжник с острым сколом и с силой опустил на него руку. Ладонь с глухим стуком врезалась в камень. Виктор Михайлович зажмурился, ожидая вспышки боли, но не почувствовал ровным счетом ничего. Физическое прикосновение произошло, геометрия движения была точной, но оно не несло в себе никаких ощущений — ни тепла, ни холода, ни страданий.

— Отлично. Я сплю в глубокой коме, — резюмировал он, поднимаясь на ноги.

Его тело казалось странно невесомым, лишенным привычной земной тяжести. Он пошел вперед, осматривая местность. С одной стороны берег омывало абсолютно неподвижное, свинцового цвета море. На его поверхности не было ни единой волны, ни даже легкой ряби — вода напоминала застывшую ртуть. С другой стороны, метрах в ста от кромки воды, побережье было наглухо, циклопически отрезано колоссальной стеной из темного, матового камня. Она уходила высоко вверх, теряясь в серой дымке неба. Через равные промежутки в стене чернели массивные ворота без створок — просто глубокие, пронизанные абсолютной темнотой проемы.

Люди вокруг вели себя странно. Кто-то сидел на гальке, обняв колени и уставившись в одну точку, кто-то бесцельно бродил взад-вперед. Среди них были лица всех рас и эпох. Но самым поразительным было то, что Коротков отчетливо слышал обрывки их разговоров. Негр, европеец в старинном камзоле и азиат спорили о чем-то, но Виктор Михайлович понимал каждое слово, хотя они явно не говорили по-русски. Это был не язык звуков, а прямое перетекание смыслов в голову.

Коротков подошел к ближайшей группе, сидевшей у кромки ртутной воды. Один из них — плотный, широкоплечий мужчина средних лет с коротко остриженной бородой и глубоким белым шрамом через всю щеку — поднял на него усталый, выжженный взгляд.

— О, еще один проснулся, — произнес бородач. Его голос транслировал ощущение тяжелых железных лат, хотя на нем была все та же роба. — Из каких краев, брат? Какого суверена подданный?

— Из Москвы, — ответил Коротков, стараясь держаться подчеркнуто сухо и официально. — Коротков Виктор Михайлович, старший научный сотрудник Института математики Академии Наук СССР. Год тысяча девятьсот семьдесят седьмой. А вы, надо полагать, плод моего утомленного агонией воображения? Галлюцинация?

Мужчина криво усмехнулся, обнажив крепкие, желтоватые зубы. — Меня зовут Антуан Шабо. Я был рыцарем Христа, сеньором небольшой крепости под Акрой. Мое тело сгнило в сирийской земле после того, как проклятые сарацины пробили мне грудь копьем в тысяча двести девяносто первом году от Рождества Господня. Так что, господин московский ученый, если я и плод, то весьма залежалый. Я сижу на этом берегу столько, сколько твоя Москва, должно быть, стоит на свете.

Коротков хмыкнул, присаживаясь рядом прямо на гальку. Она не была ни холодной, ни сырой — она была никакой. — Чистилище, — подал голос второй мужчина, сидевший чуть поодаль, опершись спиной о крупный валун. На вид это был типичный американец из приключенческих романов: с тонкими щегольскими усами, хитрыми глазами профессионального игрока и тонкими пальцами пианиста. — Место, где смываются грехи, приятель. Джеймс Хартли. Получил пулю в печень от проклятых апачей на Диком Западе в восемьдесят втором. Тоже думал, что сплю, пока не просидел тут первые десять лет. Знаешь, наука — штука хорошая, но здесь твои формулы стоят не дороже фальшивого доллара.

— Вы можете говорить мне все, что угодно, — Коротков наставительно поднял палец, возвращаясь в привычную роль лектора. — Мой разум просто пытается справиться с шоком от черепно-мозговой травмы. Сейчас приедет скорая, врачи введут адреналин или применят дефибриллятор, и этот сон прекратится. Чистилище? Ад? Рай? Это религиозные концепции Средневековья, господа, созданные для управления неграмотными массами. Реальный мир устроен на строгих законах физики, квантовой механики и термодинамики. То, что я вас слышу на русском — прямое доказательство того, что вы — проекция моей памяти.

— О, ученый! — Антуан Шабо с тоской поднял глаза к монотонному небу. — Как много вас здесь стало приходить в последнее время. Все вы сыплете терминами, какими-то «механиками», а потом сидите веками, уткнувшись носом в колени. Слушай меня, математик. Чистилище — это не подземный огонь, не кипящая смола и не черти с вилами. Творец оказался куда изощреннее. Это место, где у тебя отняли всё земное. Попробуй захотеть спать — у тебя не выйдет. Попробуй проголодаться, захотеть глоток чистой воды или ласки женщины. Здесь нет ветра, нет времени, нет смены дня и ночи. Здесь стоит вечный, проклятый полдень. И у тебя осталось только две вещи — твоя память о грехах и твой выбор.

Рыцарь указал широкой ладонью сначала на свинцовое море: — Там, за горизонтом, если идти долго и упорно, находится вход в Рай. Так говорят те, кто верит. А там, — Шабо кивнул на темные, пугающие проемы в стене, — вход в Ад. Никто не тащит тебя на дыбу, никто не гонит к ангелам. Бог дал нам здесь то, о чем мы орали на Земле — абсолютную, чистую свободу. Решай сам, математик, куда нести свою душу.

Коротков посмотрел на черные ворота в стене. От них веяло могильной жутью. Затем он перевел взгляд на Хартли, который лениво перебирал невидимые карты в руках: — Если вы утверждаете, что свободны, и если за морем находится Рай — почему вы все, тысячи людей, просто сидите здесь, на этой гальке? Почему вы не идете туда?

Шулер Хартли и рыцарь Шабо переглянулись. На их лицах одновременно появилась безрадостная, выжженная веками усталость усмешка. В ней не было веселья — лишь бесконечная пустота.

— А ты сходи, проверь, приятель, — Хартли шутливо салютовал ему двумя пальцами. — Дорога открыта, пошлины нет. Попробуй измерить этот океан своими графиками. Посмотрим, через сколько миль твоя хваленая логика взмолится о пощаде. Здесь расстояния работают иначе, ученый.

Коротков решительно поднялся, поправил ворот грубой белой робы и, повернувшись к ним спиной, зашагал по мокрой серой гальке прямо в сторону застывшего ртутного моря. Его внутренний компас советского ученого требовал немедленного экспериментального подтверждения. Он не верил ни единому их слову.

Шаг. Еще шаг. Свинцовая гладь приближалась, но как-то странно: береговая линия словно вытягивалась в бесконечную прямую, нарушая все законы перспективы. Коротков обернулся, чтобы прикинуть расстояние до оставшихся позади Шабо и Хартли, и внутри у него впервые похолодело. Они сидели в тех же позах, но казались бесконечно далекими точками, хотя он отошел всего на двадцать метров. Пространство здесь не подчинялось Евклидовой геометрии. Оно сжималось и растягивалось, как резиновое.

Виктор Михайлович упрямо тряхнул седеющей головой, заставил себя смотреть только вперед и сделал следующий шаг, опуская ногу прямо в застывшую ртуть океана.

Вода не расступилась. Она оказалась плотной, как полированный гранит, и совершенно сухой. Он стоял на поверхности моря, как на зеркальном полу. Но в ту же секунду, когда его босая ступня коснулась этой мертвой зыби, в груди, прямо там, где под белым балахоном должна была находиться память о кармане драпового пальто, вспыхнуло невыносимое, яростное, живое тепло.

Коротков судорожно прижал ладонь к ткани. Сердце по-прежнему не билось. Но сквозь призрачную робу отчетливо проступали жесткие, угловатые контуры плоского бархатного футляра. Ожерелье Лёли, оставшееся лежать на залитом кровью калужском асфальте, настигло своего вора здесь. И оно было единственным горячим предметом в этом ледяном бесконечном нигде.

Глава 3. Иллюзия расстояния

Море не имело запаха. Оно не пахло ни солью, ни йодом, ни гниющей прибрежной тиной — ничем, что напоминало бы Виктору Михайловичу о редких профсоюзных поездках в Крым. Плотная серая масса воды стояла неподвижно, словно налитая в гигантский резервуар.

Коротков шел вперед по широкой полосе отлива. Плотный мокрый песок под его босыми ногами казался твердым, как бетон, но не оставлял ощущения сырости. Как ученый, он сразу попытался подчинить это странное место привычной системе мер. Часов у него не было, поэтому он начал считать про себя: *«Раз-два-три-четыре — секунда. Раз-два-три-четыре — две»*. Каждые сто пятьдесят шагов он принимал за сто метров.

— Если это пространство трехмерно и подчиняется законам евклидовой геометрии, — рассуждал Коротков вслух, и его голос вяз в мертвой тишине, — у этого берега должен быть уклон. Рано или поздно глубина начнется, или я увижу линию горизонта. Любая аномалия имеет физические границы. Земля круглая, законы оптики непреложны. Если горизонт не приближается, значит, меняется либо кривизна пространства, либо масштаб моих собственных шагов.

Он прошел тысячу шагов. Счёт в голове постепенно превращался в сплошной, изнуряющий гул. Коротков остановился и обернулся. Огромная темная стена с черными проемами ворот казалась точно такой же, как в самом начале пути. Она не отдалилась ни на метр. Фигуры Шабо и Хартли, сидевшие у кромки, по-прежнему виднелись четкими белыми точками, словно он отошел от них всего на десяток метров.

— Быть не может, — прошептал математик, утирая сухой лоб. — Глазомер меня подводит. Плотность здешней атмосферы искажает преломление света. Скорость света здесь иная? Или мой мозг замедлил обработку визуальных сигналов?

Охваченный азартным упрямством, Коротков стиснул зубы и прибавил шагу, а затем сорвался на бег по ртутному мелководью. Вода расступалась перед ним без брызг и всплесков, мгновенно смыкаясь за пятками, словно жидкий металл. Он бежал долго — по его внутренним часам, прошел целый час интенсивного, изматывающего спринта. Но в процессе этого бега в его сознании прояснилась страшная, леденящая истина: его легкие не горели от нехватки кислорода, сердце не колотилось в грудной клетке, а мышцы ног не знали усталости. Физический предел, который на Земле заставил бы сорокапятилетнего ученого упасть на песок в изнеможении через пару сотен метров, здесь просто отсутствовал.

Но вместе с усталостью исчезло и самое главное — ощущение движения. Пространство вокруг него словно растягивалось, оставаясь абсолютно статичным. Он бежал на месте, запертый внутри гигантской, неизменяемой картины. Расстояние между ним, морем и стеной оставалось константой.

— Бесполезно, — выдохнул Коротков, останавливаясь. Впервые под белой робой пополз липкий, вполне земной, животный страх. Логика математика дала окончательный сбой: Чистилище не было пространством в физическом смысле. Это была бесконечная математическая точка, где законы Ньютона и Эйнштейна превратились в пыль.

Охваченный внезапным отчаянием, он повернул обратно. Путь назад занял у него, по ощущениям, всего несколько мгновений, словно мир сжался вокруг него, возвращая в исходную позицию. Вот снова серая галька, вот неподвижная стена. У кромки воды сидели уже вчетвером. К рыцарю и шулеру присоединился сухощавый, смуглый человек в такой же белой робе, чье лицо казалось высеченным из старой, потрескавшейся слоновой кости.

— Ну что, математик? — Хартли встретил его тонкой, издевательской усмешкой, лениво чертя пальцем по гальке. — Измерил океан? Где Райские кущи? Много километров насчитал?

Коротков промолчал, тяжело опускаясь на гальку рядом с ними. Он чувствовал себя раздавленным собственным бессилием, его научное эго было растоптано.

— Не злись, ученый, — мягко произнес Антуан Шабо, взглянув на него со шрамом на щеке. — Здесь все через это проходят. Пространство Чистилища — это не суша и не вода. Оно повинуется не ногам, а помыслам. Знакомься, это Дэмин Чжэн. Из китайских крестьян. Появился здесь совсем недавно, пока ты гулял по воде.

Коротков вяло посмотрел на китайца. В его голове тут же, без слов, сформировался перевод чужой речи, хотя Чжэн лишь едва шевелил губами. — Какого года ты будешь, Чжэн? — спросил Виктор Михайлович, надеясь зацепиться за временную шкалу. — Председатель Хуа Гофэн у руля, — тихо ответил китаец, смиренно глядя в землю. — Январь тысяча###### года по календарю поднебесной. Болел долго, легкие высохли. Зима в провинции была очень холодная, рис не уродился…

Коротков резко выпрямился. Внутри него все похолодело, а остатки разума завязались в тугой узел. — Январь семьдесят восьмого?.. — переспросил он, чувствуя, как рушится последняя опора его рациональности. — Но это бред! Невозможная чушь! Я попал под грузовик в конце ноября семьдесят седьмого. Я шел туда, к морю, и бежал обратно от силы пару часов! Всего два часа!

— Времени здесь нет, друг мой, — грустно и спокойно произнес Антуан Шабо. Он поднял с земли крупный серый камень и разжал ладонь — валун упал на гальку без единого звука. — Ты мог ходить там два часа, а мог — два столетия. Земные календари здесь ничего не значат. Для твоей Москвы прошло полтора месяца вашей земной суеты. Твоя любовница, небось, уже выплакала все слезы, а жена Тоня справляет по тебе сороковины. А для тебя — это был один короткий, бессмысленный шаг по воде.

Шабо вздохнул, его борода дернулась: — Большинство людей, попадающих сюда, в конечном итоге не выдерживают именно этого. Они уходят за море на огромные расстояния, надеясь найти Рай, теряются в этой пустоте на века, превращаясь в бродячие тени. А те, кто отчаялся окончательно… они выбирают Ад. Просто чтобы сменить эту проклятую пустоту хоть на какие-то осязаемые ощущения.

Слова рыцаря оборвал тяжелый, прерывистый шорох гальки со стороны моря.

Из серого марева, шатаясь и спотыкаясь, вышла человеческая фигура. Это был мужчина-азиат, его белая роба была изодрана в клочья, словно он продирался сквозь невидимый колючий кустарник, хотя на его бледном теле не было ни единой царапины или капли крови. Его лицо выражало такую степень эмоционального выгорания, безумия и экзистенциального ужаса, какую Коротков не видел на Земле даже у смертельно больных или приговоренных к расстрелу.

— Акира… — негромко произнес Хартли, мгновенно подобравшись и приподнимаясь на локтях. — Ты вернулся. Сколько же тебя не было? Века два?

Японец остановился, его пустые, остекленевшие глаза скользнули по сидящим, не задерживаясь ни на ком. — Я шел с девятнадцатого века, — его голос прозвучал как шелест сухой соломы на ветру. — Сто земных лет. Двести лет. Тысячу. Там ничего нет. Вообще ничего. Только серая вода, серое небо и твое собственное сознание, которое жрет тебя изнутри. Пространство не кончается, оно издевается. Я перенес самые страшные мучения — мучения абсолютным, звенящим ничем. Мой разум сгнил. Мои воспоминания стерлись. Я забыл имя своей матери и лицо своей жены.

Акира медленно повернулся лицом к темной каменной стене, его худые руки крупно дрожали. — Теперь Ад для меня кажется избавлением и милостью. Там есть хотя бы огонь. Там есть крики грешников. Там есть боль. Там есть хоть что-то живое, осязаемое, кроме этой проклятой, удушающей тишины Чистилища.

Никто не стал его останавливать — ни рыцарь, ни шулер, ни крестьянин. Под молчаливыми, тяжелыми взглядами Короткова и остальных японец Акира медленным, но абсолютно твердым шагом направился к ближайшему черному проему в стене. Он переступил невидимую черту ворот и мгновенно, беззвучно растворился в абсолютной, непроницаемой темноте, оставив Чистилище навсегда.

Коротков смотрел вслед ушедшему в бездну, и внутри него, советского ученого и атеиста, медленно, в страшных муках рождалось новое мировоззрение: Чистилище — это не место физического наказания. Это гигантское зеркало, в котором человеческая душа обречена вечно созерцать собственную, ничем не прикрытую пустоту.

Глава 4. Община "Непредрешённости"

Они сидели вчетвером — средневековый крестоносец, американский ковбой-шулер, китайский крестьянин и советский математик. В Чистилище по-прежнему царил нерушимый, мертвенный полдень, похожий на застывшую в янтаре вечность. Время не двигалось, но сознание Короткова продолжало фиксировать события, выстраивая их в странную, условную хронологию. Уход японца Акиры оставил в воздухе тяжелое, невидимое облако безысходности, которое, казалось, давило на плечи сильнее земной гравитации.

— Вот так они и уходят, — нарушил молчание Хартли, лениво перебирая невидимые карты своими тонкими пальцами. — Один за другим. Те, у кого внутри слишком много пороха и слишком мало терпения. Знаешь, математик, на Диком Западе я видел парней, которые сходили с ума от золотой лихорадки. Но здешняя лихорадка пустоты — штука куда более злая.

— Он просто не имел веры, — глухо отозвался Антуан Шабо, не отрывая взгляда от ртутной воды. — Без щита веры человеческий разум на этом берегу уподобляется крепости без стен. Рано или поздно пустота берет её осадой.

— Вера тут ни при чем, — хмуро ответил Коротков, обхватив руками колени. — Это чистая психология изоляции. Человек — существо социальное и деятельное. Полное отсутствие раздражителей, сенсорная депривация — любой мозг в таких условиях начнет пожирать сам себя. Дело не в грехах, а в физиологии сознания.

Тишину их спора прервал новый звук — мягкий, ритмичный шорох шагов по сухой гальке. Со стороны востока шла женщина.

Она двигалась на удивление уверенно, совсем не так, как большинство потерянных, спотыкающихся душ на этом побережье. Ее ярко-рыжие волосы, не знавшие законов земной гравитации и ветра, неподвижным, застывшим пламенем обрамляли бледное, строгое лицо. Белая роба сидела на ней как безупречно скроенное пуританское платье.

Женщина остановилась прямо перед их группой. Ее взгляд, внимательный, холодный и пронзительный, остановился на Короткове и Чжэне.

— Приветствую вас, заблудшие братья, — произнесла она, и в ее беззвучном голосе послышался фанатичный, звенящий металл. — Меня зовут Сара Клойс. Я пришла из Салема, из самого конца семнадцатого века земного безумия и судов над ведьмами. Я иду на запад, чтобы нести весть тем, кто еще способен слышать и не окончательно превратился в соляной столп.

— О, мисс Сара, — Хартли шутливо приподнял руку, имитируя приветствие шляпой. — Какими судьбами в нашем тихом казино? Опять будете звать честных грешников в свое каменное гнездо на востоке?

— Я зову их в общину «Непредрешенности», шулер, — отрезала Сара, даже не взглянув на американца. Она полностью сосредоточилась на Короткове. — Вы сидите здесь и ждете знамений, которых никогда не будет. Вы пытаетесь измерить ногами море, которое бесконечно, или трусливо шагаете в пасть дьявола, как тот несчастный азиат, что только что прошел мимо меня. Но есть третий путь. На востоке мы создали место, где души объединились. Мы приносим благословенное разнообразие и спасение в эту мертвую вечность. Мы строим то, что освободит нас. Вы двое — я вижу это по вашим робам — новоприбывшие. Ваша память еще хранит тепло земной жизни, ваши умы еще не выжжены веками бездействия. Пойдемте со мной. В общине вы найдете цель.

Китаец Чжэн медленно поднялся с камней. В его узких глазах, уставших от созерцания ртутной воды, вспыхнул робкий, почти детский огонек надежды. На своей родине он всю жизнь был частью коллектива, коммуны, подчинялся железной логике общего труда и партийных директив. Пустота и абсолютное одиночество Чистилища пугали его больше всего на свете.

— Я пойду с тобой, женщина, — тихо сказал Чжэн, отряхивая робу. — Без работы и людей душа человека засыхает, как забытый на солнце рис. Мне нужно дело. Мне нужны те, кто думает так же, как я.

Сара удовлетворенно кивнула и перевела взгляд на Короткова: — А ты, человек из века машин и формул? Что выберешь ты? Будешь сидеть здесь, пока галька под твоими ногами не сотрется в пыль?

Коротков тоже поднялся, медленно одернув белую ткань. Рациональный ум советского ученого отчаянно протестовал против любых религиозных или квазирелигиозных общин — в СССР он наслушался лекций по научному атеизму и прекрасно знал, как действуют сектанты, баптисты и свидетели Иеговы. Но с другой стороны, оставаться здесь, рядом с циничным Хартли и погруженным в средневековый анабиоз Шабо, означало подписать себе приговор. Опыт с морем наглядно показал, что в одиночку этот мир не одолеть.

— Хорошо, гражданка Клойс, — сухо и официально произнес Коротков, по привычке поправляя несуществующие очки на переносице. — Я составлю вам компанию и посмотрю на вашу общину. В конце концов, социологический эксперимент и наблюдение за формированием социальных связей в условиях загробного мира — это хоть какое-то разнообразие. Посмотрим, что за утопию вы там построили.

Хартли лишь покачал сферической колодой карт в воздухе, а Шабо даже не повернул головы. Для них, проживших здесь века, любые перемещения новичков казались лишь временной суетой бабочек-однодневок перед лицом застывшего бесконечного времени.

Они двинулись вдоль темной каменной стены на восток. Пространство здесь ничем не отличалось от прежнего, но через некоторое расстояние, которое Коротков уже принципиально не пытался измерять шагами, из серого марева впереди показалась еще одна фигура, идущая им навстречу. Это была молодая девушка, хрупкая, с тонкими, изящными чертами лица и темными волосами, собранными в аккуратный, строгий пучок.

Коротков остановился как вкопанный, едва не споткнувшись о крупный булыжник. Его дыхание, которое он теперь имитировал лишь по многолетней земной привычке, со свистом перехватило. Внутренности сжались в тугой, ледяной узел.

— Лёля?.. — едва слышно прошептал он, чувствуя, как мир вокруг него зашатался. — Господи… Лёля, это ты?

Перед ним стояла Елена. Те же огромные, чуть навыкате, грустные глаза, та же капризная линия губ, тот же легкий, сводящий его с ума поворот головы, ради которого он в Калуге пошел на должностное преступление, растрату и, в конечном счете, под колеса грузовика. Сердце, казалось, готово было разорвать грудную клетку, если бы оно продолжало биться.

Девушка остановилась и удивленно, с легким испугом посмотрела на него. — Вы ошибаетесь, сударь, — мягко, певуче произнесла она, и ее безупречный выговор нес в себе характерные, давно забытые интонации петроградской интеллигенции. — Я не Лёля. Меня зовут Елена, это верно. Елена Митина. Я скончалась от скоротечной чахотки в Санкт-Петербурге в тысяча девятьсот двенадцатом году. Мы не могли быть знакомы.

Коротков сделал шаг назад, хватаясь обеими руками за голову. Новая, сокрушительная волна скепсиса, ужаса и отчаяния захлестнула его сознание. «Это точно бред! Это стопроцентная агония! — закричал его внутренний голос. — Мой умирающий в калужской больнице мозг просто компилирует остатки воспоминаний, подсовывая мне образы! Эта чертова аномалия Чистилища подстраивается под мои мысли! Сначала авария, теперь она… Это не загробный мир, это предсмертные судороги Виктора Короткова!»

Сара Клойс шагнула между ними и строго, осуждающе посмотрела на взволнованного математика: — Успокой свой мятежный разум, брат Виктор. В Чистилище многие души кажутся похожими друг на друга, ибо все мы слеплены из одной земной памяти и одной глины.

Или, быть может, это великая милость Господня явила тебе это лицо как утешение и знак? Елена идет с нами. Она тоже не нашла покоя среди одиночек и ищет ответы в нашей общине.

Елена Митина робко, сочувственно улыбнулась Короткову. В ее чистом взгляде не было той хищной, требовательной и эгоистичной страсти, которую излучала его земная любовница Лёля, но в нем крылось нечто куда более глубокое — тихое, понимающее и спасительное сострадание.

Коротков медленно опустил руки от головы, выравнивая дыхание. Реально это было или это была лишь проекция его угасающего мозга, но образ Лёли, пусть даже под именем Елены Митиной из тринадцатого года, пробудил в нем первое сильное, настоящее человеческое чувство с момента катастрофы. Ледяное отчаяние и сухая математическая логика отступили, уступая место чему-то живому.

— Простите меня, Елена, — тихо и искренне сказал он, заглядывая в ее глаза. — Вы абсолютно правы. Я обознался. Мое прошлое еще слишком сильно держит меня за горло. Но я искренне рад, что вы пойдете с нами.

— Ничего страшного, Виктор, — так же тихо ответила девушка, делая шаг к нему. — Здесь у всех нас осталась незавершенная земная повесть. Пойдемте. Вместе идти не так страшно.

Они двинулись дальше вчетвером, оставляя позади бесконечное побережье потерянных одиноких душ. Они направлялись туда, на восток, где люди пытались построить свой собственный суррогат смысла посреди великой и пугающей пустоты вечности.

Глава 5. Вавилонские мудрецы

Они шли вперед, и монотонный пейзаж побережья казался застывшим кадром старой киноленты. Однако внутри этой мертвой статики происходило нечто удивительное для Виктора Михайловича: он разговаривал с Еленой Митиной.

Слушая ее неторопливый, певучий рассказ о жизни в предреволюционном Петербурге — о туманных вечерах на Васильевском острове, о хрусте колес конных экипажей по первому пушистому снегу, о гимназических балах и спорах вокруг стихов Блока, — Коротков ловил себя на мысли, что впервые за всё время пребывания в этом сером мире он не думает о растраченных деньгах, об аварии или о бесконечности моря. Голос Елены, лишенный земных интонаций кокетства и капризов, нес в себе редкую, чистую симпатию. В душе старого математика, очерствевшей от формул и позднего бытового греха, пробуждалось сильное, глубокое чувство, кардинально отличавшееся от прежнего удушающего отчаяния.

— Вы так красиво говорите о зиме, Елена, — негромко произнес Коротков, глядя под ноги на серую гальку. — А я ловлю себя на мысли, что почти забыл, как пахнет морозный воздух. Здесь ведь нет запахов. И холода нет. Есть только… геометрия пространства.

— Это потому, Виктор, что мы пытаемся помнить умом, а нужно помнить сердцем, — мягко ответила девушка, чуть повернув к нему голову. — Ум на этом берегу быстро опускает руки. Он видит, что привычные законы не работают, и начинает сходить с ума. А сердце помнит не законы, оно помнит чувства.

Их разговор был прерван наткнувшейся на них странной парой. Посреди серой гальки, прямо у подножия циклопической стены, сидели двое мужчин в грязных белых робах. Вокруг них не было никаких приборов, бумаг или карандашей, но они вели себя так, словно находились в самом разгаре сложнейшего, судьбоносного лабораторного эксперимента. Один из них то и дело вскакивал, размахивал руками и что-то беззвучно артикулировал, а второй, насупившись, чертил пальцем круги на песке.

— Говорите! Ну же, быстрее, произнесите любое многосложное слово! — воскликнул первый из них, заметив приближающуюся группу и буквально подбегая к Короткову. Его глаза горели фанатичным, полубезумным блеском. — Произнесите «синхрофазотрон», «электрификация» или хотя бы «достопочтенный»! Нам нужны новые фонетические маркеры!

— Перестаньте, Стэпл — это бессмысленно, — раздраженно осадил его второй, плотный мужчина с высоким лбом и глубокими залысинами. — Ваша лингвистика буксует там, где нарушены фундаментальные законы термодинамики. Мы имеем дело с физическим феноменом, а не с филологическим.

Сара Клойс строго нахмурилась и сделала шаг вперед: — Артур, Матеуш, вы снова терзаете новоприбывших своими мертвыми земными мыслями? Вам мало веков, проведенных за этими бесплодными спорами?

Коротков шагнул вперед, инстинктивно заслоняя собой Елену от безумного взгляда лингвиста. — Я Виктор Михайлович Коротков, старший научный сотрудник Института математики Академии Наук. А вы, как я вижу, коллеги? Земные ученые?

Мужчины мгновенно оживились, словно хищники, почуявшие добычу. Лингвист Стэплтон, преподававший при жизни в Оксфорде начала двадцатого века, мертвой хваткой вцепился в рукав робы Короткова.

— Коллега! Какое счастье! Математик! — затараторил он. — Поймите, мы бьемся над величайшей загадкой. Мы общаемся здесь без звуковых волн! Вы ведь заметили? Ваша гортань неподвижна, мои барабанные перепонки не колеблются, но мы идеально, до мельчайших оттенков понимаем друг друга. Я заставляю людей из разных эпох — римлян, средневековых крестьян, американских индейцев — произносить специфические, узкие термины их времени.

И знаете что? Нет никакого перевода в голове! Это прямое перетекание смыслов. Я утверждаю, что это пространство — чистый праязык, довавилонское информационное плато, где человеческое сознание обнажено и избавлено от условностей знаков и звуков!

— Ерунда, Артур, чистейшая гуманитарная чушь, — раздраженно отмахнулся физик Добинский, известный польский ученый тридцатых годов, поднимаясь на ноги и отряхивая робу. — Язык — это лишь следствие, надстройка. Посмотрите на море, Коротков! Вы ведь математик, вы должны мыслить системно. Эта жидкость не имеет плотности, она не испаряется под этим вечным зенитом, она не подчиняется законам гравитации и приливов. Я утверждаю, что это Чистилище — вовсе не мистическое пространство из религиозных книжек. Это колоссальная, стабильная пространственно-временная аномалия! Некий изолированный «кусок» довавилонского физического мира, макроскопический изолят, куда затягивает остаточную электромагнитную энергию человеческого сознания после биологической смерти. А невозможность дойти до начала моря или уйти вглубь суши объясняется просто: геометрия этой аномалии такова, что пространство здесь замкнуто и сворачивается само в себя при любой попытке линейного перемещения.

Коротков, чей разум годами оперировал строгими, выверенными математическими моделями, слушал их с растущим раздражением. Земной материализм ученых, пытающихся с помощью примитивного опыта без инструментов объяснить посмертную метафизику, выглядел в этом месте жалко и нелепо.

— Вы совершаете фундаментальную ошибку, господа, — сухо и твердо отрезал Коротков, убирая руку Стэплтона со своего рукава. — Ваша теория пространственно-временного сдвига и электромагнитного изолята рассыпается при первой же попытке строгого анализа. Если бы это была чисто физическая аномалия, пусть даже с измененной топологией, перемещение в ней не могло бы полностью отключить биологические функции человеческого организма. У нас бы по-прежнему выделялись ферменты, клеткам требовался бы кислород, происходил бы распад тканей. Мы бы чувствовали если не голод, то хотя бы механический износ суставов.

Добинский прищурился, скрестив руки на грудной клетке: — И как же вы, марксистский выкормыш из советской Академии, объясните это? Неужели поверите в ангелов с трубами?

— Ни в коем случае, — холодно парировал Коротков. — Но я вижу факты. Общий поток течения времени на Земле продолжается — мы с Чжэном зафиксировали приход людей из более поздних лет, вектор времени направлен строго вперед. Но здесь времени нет — есть лишь фиксация событий нашим сознанием. Вы пытаетесь измерить бесконечность линейкой, которой у вас к тому же нет. Ваши «исследования», Добинский, ваши «фонетические маркеры», Стэплтон — это не наука. Это лишь ваша личная трусливая попытка спрятаться от очевидного факта: земной материализм здесь мертв. Вы создали себе иллюзию лаборатории, потому что признать существование души для вас страшнее, чем сидеть в вечной аномалии.

Добинский гневно всплеснул руками, его лицо покраснело от возмущения, а Стэплтон брезгливо отвернулся, бормоча что-то о невежестве современных ученых.

— Вы просто закостенелый догматик, Коротков! — в сердцах крикнул польский физик, снова опускаясь на колени к своим кругам на гальке. — Мы продолжали наши опыты до вас и будем продолжать после! Мы найдем физический выход из этого тупика, найдем формулу этого пространства!

— Ищите, — тихо сказал Коротков, чувствуя укол искренней жалости. — Только помните, что формулу бесконечности нельзя написать на песке.

Он повернулся к ним спиной. Ученые отказывались слушать любые доводы, добровольно заперев себя в клетке псевдонаучного фанатизма, превратив свое Чистилище в бесконечный, бесплодный симпозиум.

— Пойдемте, — тихо сказала Елена Митина, мягко коснувшись его пальцев своей прохладной ладонью. — Им не нужны ответы, Виктор. Им нужен их собственный, безопасный лабиринт из терминов. Они защищаются от вечности параграфами.

Группа двинулась дальше на восток, оставляя позади двух безумных мудрецов. Коротков шел, чувствуя, как внутри него крепнет понимание: разум человека — это самая упрямая вещь во Вселенной, способная отрицать даже очевидность собственного посмертия, лишь бы не менять привычные земные привычки. А впереди, сквозь серую дымку, уже начали отчетливо проступать очертания чего-то огромного, хаотичного и по-настоящему пугающего.

Глава 6. Каменные ворота Митрополита Спиридона

Серый туман впереди начал сгущаться, приобретая очертания исполинских, хаотичных конструкций. Вскоре Коротков и его спутники вышли к месту, которое внешне напоминало первобытную, безумную стройку.

Сотни людей в одинаковых белых робах молча и монотонно перетаскивали с места на место огромные, тяжелые валуны. Они катили их по гальке, надрывались, поднимали и водружали один на другой. Вдоль побережья уже высились десятки колоссальных каменных арок — ворот, собранных из дикого камня. Они стояли прямо на песке, ведя из ниоткуда в никуда, и выглядели бессмысленным памятником человеческому упрямству. Коротков и Чжэн остановились, завороженно наблюдая за этой сизифовой работой. Души не чувствовали усталости, их мышцы не сводило от боли, но на их лицах застыло выражение глухого, механического подчинения.

— Зачем они это делают? — в недоумении спросил Коротков. — Какой смысл перекатывать камни в месте, где нет созидания?

— Они строят свое спасение, брат Виктор, — благоговейно прошептала Сара Клойс.

К прибывшим медленно направился человек, чья белая роба казалась чуть длиннее и опрятнее, чем у остальных. Это был старец с окладистой седой бородой, глубокими, мудрыми и одновременно пугающе фанатичными глазами. В его осаноке угадывалось величие человека, привыкшего повелевать умами.

— Приветствую вас, чада мои, — произнес он глубоким, бархатным голосом, в котором звенела непоколебимая уверенность. — Я Митрополит Спиридон. При жизни Господь сподобил меня нести крест пастыря в Греции, где я и принял мученическую смерть от рук немецких оккупантов в годы великой войны. Теперь я руковожу этой паствой.

— Вы построили всё это, чтобы спастись? — Коротков указал рукой на груды валунов. — Но от чего? И куда ведут эти ворота?

Спиридон строго посмотрел на математика, и его брови сошлись у переносицы. — Ты рассуждаешь как мирской человек, ослепленный гордыней разума. Слушай меня внимательно: православная догматика не знает никакого Чистилища! Чистилище — это католическая ересь, выдумка человеческая. Есть лишь Рай и Ад. А место, где мы находимся — это не Чистилище. Это дьявольская ловушка, гигантский морок, созданный князем тьмы, чтобы уловить наши души в сети бездействия и сомнений. Вся эта пустота, вечный день, отсутствие чувств — иллюзия, призванная заставить нас забыть о Боге. За той стеной, — он указал на гладкую черную циклопическую стену Чистилища, — действительно Ад. Но мы не должны мириться с этой ловушкой.

Спиридон обвел рукой строящиеся арки: — Эта деятельность необходима. Во-первых, труд очищает душу и спасает её от тлетворного уныния этой пустоты. Во-вторых, когда эти великие ворота будут завершены, и когда каждый член нашей общины искренне уверует, что мы способны вырваться — Господь увидит нашу верность и сокрушит стены этого дьявольского узилища. Мы выйдем отсюда свободными! Задумайтесь о своей жизни, вновь прибывшие. Неужели вы думаете, что своими грехами заслужили право просто сидеть и ждать?

Старец сделал паузу и жестом подозвал человека, сидевшего неподалеку на куче щебня. Тот поднялся с развязной, наглой грацией. Это был плотно сбитый мужчина с грубыми, звериными чертами лица. На его губах играла издевательская, хищная усмешка.

— В доказательство того, что это место — не Божий суд, а абсурдная ошибка и ловушка, посмотрите на него, — Спиридон с отвращением указал на мужчину. — Это Дадли Мулнер. При жизни на своей далекой австралийской земле он был безжалостным убийцей, насильником и садистом. Он гордится своими злодеяниями и не раскаивается в них даже сейчас. По всем

законам Божественной справедливости его место — на самом дне преисподней. Но он здесь, среди нас, в этой «ловушке». Разве праведный Господь мог допустить такую ошибку? Нет! Это дело рук лукавого.

Мулнер хохотнул, сплюнув на гальку: — Святой отец прав, ученый. Я был сущим дьяволом, и мне нравилось пускать кровь. И я плевать хотел на их Бога. Но я проснулся тут, в этой белой тряпке, и мне чертовски скучно.

Коротков сделал шаг назад. Рациональный ум математика мгновенно просчитал структуру происходящего. Перед ним была классическая тоталитарная секта, взращенная на почве религиозного страха перед непостижимым.

— Вы безумны, Митрополит, — твердо и громко произнес Коротков, глядя Спиридону прямо в глаза. — Ваша теория — лишь способ сбежать от реальности, которую вы не можете объяснить своими книгами. Эти ворота из валунов… они так и останутся воротами из валунов. Вы просто строите тюрьму внутри тюрьмы, чтобы занять людей, которые боятся посмотреть в лицо истинной свободе Чистилища. Вы подменяете вечность бессмысленной каторгой.

Спиридон нахмурился, его взгляд стал ледяным, но ответить он не успел.

Китаец Дэмин Чжэн вдруг упал на колени перед Митрополитом. Его лицо дрожало от подступивших слез, которых не могло пролить его бесплотное тело. На него проповедь о коллективном труде, о вине и о понятной, осязаемой цели произвела сокрушительное впечатление. — Я останусь здесь… — прошептал Чжэн, хватаясь за край робы Спиридона. — Дома мы всегда трудились вместе ради великой цели. В этой пустоте я схожу с ума. Дайте мне камень. Я хочу таскать камни. Я хочу верить.

Спиридон удовлетворенно кивнул и положил руку на голову китайца: — Иди, сын мой. Твой труд зачтется.

Уходя, Коротков, Митина и Мулнер, который больше не мог терпеть этих ненормальных, наблюдали за тем, как члены общины с яростными криками изгоняют через ворота в Ад индусского врача-шарлатана, обещавшего обучить людей искусству сна в Чистилище. Сектанты грубо толкнули несчастного в проем каменной арки, и тот с диким воплем мгновенно растворился в непроницаемой черноте стены.

Глава 7. Вечные стены разума

Коротков смотрел на сгорбленную спину китайца Чжэна, который уже катил свой первый валун к строящейся арке, и в его памяти вдруг отчетливо, до боли вспыхнул транспарант из красного кумача. Этот транспарант висел на фасаде Института математики в Москве, прямо над парадным входом, и Коротков видел его каждый день на протяжении последних пятнадцати лет.

«Учение Маркса всесильно, потому что оно верно», — гласили золотые буквы, выведенные аккуратным трафаретом под портретом вождя. В прошлой, земной жизни Виктор Михайлович никогда не задумывался над этим лозунгом, воспринимая его как неизбежный и пресный элемент советского пейзажа, вроде асфальта, очередей или телефонных будок.

И только здесь, на безнадежном каменистом берегу Чистилища, Коротков вдруг осознал весь страшный, извращенный смысл этой фразы.

Учение марксизма о коллективном сознании, о базисе и надстройке, о человеке как о «винтике» трудового процесса действительно оказалось всесильным. Но не потому, что оно отражало истинное устройство Вселенной — Вселенная Чистилища как раз плевала на земной материализм. Оно было всесильным, потому что человеческий разум, даже лишившись биологического тела, оставался неизменным. Люди вроде Чжэна или сектантов Спиридона физически не могли существовать без идеологического загона, без коллективного ярма и понятной структуры. Они сами делали земные учения «верными», добровольно воспроизводя классовое общество, иерархию и каторжную трудовую повинность даже в загробной вечности. Маркс и Ленин оказались правы не в физике мира, а в диагнозе человеческой слабости: раб подсознательно мечтает не о чистой свободе, а о понятной работе и твердой руке хозяина.

Коротков грустно констатировал про себя, что люди, даже лишившись земных тел, времени и физических потребностей, все равно продолжают строить тюрьмы в собственной голове. Они добровольно возводят стены, ищут виноватых, изгоняют несогласных и цепляются за иллюзию структуры — всё что угодно, лишь бы не оставаться один на один с пугающей, абсолютной свободой Чистилища и необходимостью сделать главный, самостоятельный выбор своей вечной жизни.

Удары валунов друг о друга и фанатичное пение общины «Непредрешенности» окончательно стихли позади, поглощенные плотным, глухим воздухом побережья. Серое ртутное море по левую руку по-прежнему стояло застывшим зеркалом. Колоссальная стена справа тянулась в бесконечность, отмечая их путь черными провалами пустых ворот.

Они шли втроем. Впереди уверенно шагал Дадли Мулнер, насвистывая какой-то грязный австралийский мотивчик. Коротков шел чуть позади, бережно держа за руку Елену Митину.

Ее ладонь не была теплой — в этом мире вообще не существовало температур, — но это прикосновение дарило Виктору Михайловичу странную, спасительную плотность. Математик ловил себя на мысли, что его прежняя жизнь в Москве 1977 года, растраченные четыре тысячи рублей, Академия Наук, Лёля, ради которой он перешагнул черту закона, и даже роковой грузовик в Калуге — всё это превратилось в далекие, блеклые формулы. Настоящей была только эта девушка из 1912 года, идущая рядом с ним сквозь вечный полдень.

— Куда мы идем, Виктор? — тихо спросила Елена, поворачивая к нему свое бледное, утонченное лицо. — На восток? Но ведь берег бесконечен. Рано или поздно мы наткнемся на другую общину или на таких же одиночек, как сеньор Антуан.

Коротков остановился и посмотрел на свинцовую гладь воды.

— Наука Стэплтона и Добинского мертва, Елена. Но в одном они были правы — линейная логика здесь бессильна. Пространство не имеет значения. Японец Акира шел сто лет вдоль

берега и сошел с ума от пустоты. Китаец Чжэн испугался свободы и стал рабом Спиридона. Но свобода — это не пустота. Это отсутствие навязанных стен.

— Эй, философы! — Мулнер обернулся, ухмыляясь своей хищной, звериной улыбкой. — Вы как хотите, а я, пожалуй, пришел. Мне надоело топтать эту чертову гальку. На Земле я брал от жизни всё и ни перед кем не отчитывался. А здесь я даже не могу получить хорошую зуботычину.

Австралийский убийца остановился напротив очередного черного проема в каменной стене. Оттуда, из непроглядной глубины Ада, не доносилось ни звука, но Мулнер смотрел туда с явным азартом.

— Спиридон думал, что я ошибка системы, — хмыкнул Дадли. — А я думаю, что система просто дала мне перекур. Там, за стеной, меня наверняка ждут черти с раскаленными сковородками. Что ж, по крайней мере, там будет весело. Бывайте, умники.

Мулнер небрежно салютовал двумя пальцами и, не колеблясь ни секунды, шагнул в темноту ворот. Черная бездна поглотила его мгновенно, без всплеска, без эха. Словно человека и не было.

Коротков и Митина остались одни на бескрайнем сером берегу.

Виктор Михайлович медленно подошел к самой кромке ртутной воды и посмотрел вниз. Гладкая, мертвая поверхность моря впервые за все время не просто стояла безликой массой, а глухо отразила их силуэты. Но в этом отражении они были одеты не в безликие белые робы. Коротков увидел себя в своем старом драповом пальто, а Елену — в изящном петербургском платье, и между их пальцами не было ворованного, грязного золота Академии Наук. Там было только чистое, не скованное земным страхом тепло. Отражение качнулось и растаяло, снова сменившись свинцовой гладью.

Елена повернулась к нему. Ее огромные грустные глаза смотрели прямо в его душу — глубоко, беззащитно и одновременно с пугающей силой. Она указала тонкой рукой на темную стену, где только что исчез Мулнер, а затем на бесконечный, пустой горизонт.

— Он ушел в свои персональные мучения, Виктор, — тихо произнесла она, и ее голос прозвучал отчетливее прежнего. — А Спиридон остался строить свою персональную тюрьму. Все они притащили сюда свои земные цепи. Скажи мне, математик… Всесильно ли твое собственное учение? Что теперь верно для твоей души?

Коротков посмотрел на циклопическую стену Чистилища, утыканную черными пастями ворот — вечный памятник человеческому страху. Затем перевел взгляд на Елену. Логика, формулы, марксистские догмы и материализм, которыми его пичкали сорок пять лет, окончательно рассыпались в прах. Осталась только голая, звенящая истина.

— Мое прежнее учение было мертвым, Лёля… Елена, — ответил Коротков, и от звука его голоса по застывшему ртутному морю впервые пробежала легкая, живая рябь. — Земные вожди врали. Всесильно лишь то учение, которое способно разрушить стены внутри нас самих. Ад — это не чернота в стене. И Рай — это не остров за океаном. Ад и Рай — это то, что мы сотворили со своим разумом. Они все остались в Аду, даже не перешагнув порог ворот, потому что испугались чистой свободы.

Он сделал шаг вперед и впервые за всю вечность крепко, до хруста зажал ее ладонь в своей.

— Мы не пойдем в их Ад ради дешевой боли, Елена. И мы не станем таскать валуны для их фальшивого Рая. Мы пойдем мимо. У нас отняли имена, паспорта, деньги и время. Но у нас осталось то, чего нет ни у ученых, ни у общины.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.